



## С. А. АНДРЕЕВСКИЙ

### О Некрасове

#### I

Спорный поэт... И прежде других, он сам себя оспаривал: «Нет в тебе поэзии свободной, мой суровый, неуклюжий стих!» «Мне борьба мешала быть поэтом...» Как на крайнее мнение против Некрасова, можно указать на отзыв Тургенева: «Я убежден, что любители русской словесности будут перечитывать лучшие стихотворения Полонского, когда самое имя г. Некрасова покроется забвением. Почему же это? А просто потому, что в деле поэзии живуча только одна поэзия, и что в белыми нитками сшитых, всякими пряностями приправленных, мучительно высиженных измышлениях г. Некрасова, ее-то, поэзии, и нет на грош, как нет ее, например, в стихотворениях всеми уважаемого и почтенного А. С. Хомякова, с которыми, спешу прибавить, г. Некрасов не имеет ничего общего» (СПб. ведомости. 1880 г. № 8). Комментарием к этому печатному заявлению Тургенева служит его письмо к Полонскому из Веймара от 29-го января 1870 г.: «Ты, может быть, и прав в том, что ты говоришь мне по поводу Некрасова; но, поверь, я всегда был одного мнения о его сочинениях — и он это *знает*; даже, когда мы находились в приятельских отношениях, он редко читал мне свои стихи, а когда читал их, то всегда с оговоркой: “Я, мол, знаю, что ты их не любишь”. Я к ним чувствую нечто вроде положительного отвращения: их “argieregout”\* — не знаю, как сказать по-русски — особенно противен: от них отзывается тиной, как от леща или карпа». Еще ранее того (13 января 1868 г.) Тургенев писал Полонскому: «Г. Некрасов — поэт с натугой и штучками; пробовал я на днях перечесть его собрание стихотворений... нет! Поэзия и не ночевала тут — и бросил я в угол это жеванное папье-маше с поливкой из острой водки». Природное отчуждение Тургенева от музыки Некрасова сказалось и в его «Призраках»:

---

\* Привкус (фр.). — Ред.

«У раскрытого окна высокого дома (пролетая над Петербургом), — пишет Тургенев, — я увидел девицу в измятом шелковом платье, без рукавчиков, с жемчужной сеткой на волосах и с папироской во рту. Она благоговейно читала книгу: это был том сочинений одного из новейших Ювеналов. — Улетим! — сказала я Эллис» («Призраки», XXII). Почему же это Тургенев, приветствовавший поэзию во всем и всюду, отметивший, например, у Добролюбова «удивительное» стихотворение «Пускай умру — печали мало», — почему Тургенев совсем отрицал Некрасова? Эту, правда, несколько капризную и преувеличенную неприязнь Тургенева к произведению Некрасова едва ли можно объяснить личными отношениями между обоими писателями; вероятно, в некрасовской лирике было действительно нечто такое, что болезненно раздражало чуткую эстетическую натуру Тургенева. И Тургенев был не один. Из эстетиков Страхов очень смело и настойчиво обличал Некрасова в деланности эффектов и в поэтической бестактности. Из либералов Антонович утверждал, что Некрасов «не был собственно лирическим поэтом, творящим и поющим в поэтическом увлечении: он творил холодно-обдуманно и строго сознательно» («Слово». Февраль 1877 г.). Сам поэт в себе сомневается, другие — тоже. Что-нибудь тут кроется. Тут виноваты: либо природа самого таланта, либо раздвоение в его функциях, либо — и то и другое вместе.

Все признавали даровитость Некрасова. Застигнутый позитивными вкусами общества, он искал новых дорог, новых приемов; он заставил приверженцев чистого искусства оспаривать его славу и путаться в определениях: что же такое, собственно, поэзия?

Эта большая и мудреная литературная сила напрашивается на изучение.

«Мне борьба мешала быть поэтом», — говорит Некрасов. Не одна борьба, но и время, в которое он действовал, и требование читателей, и влияние руководящих критиков, и, конечно, больше всего — собственная натура Некрасова, самая положительная, дельная, земная, какую только можно себе представить. Пусть он был энергичным, искренним, даже пламенным деятелем слова, — все-таки грунт его природы был по преимуществу практический, вкусы — трезвые и материальные. Красота, женская любовь — эти вечные родники поэзии, — почти не пробуждали его вдохновения. В женщине он любил физическое здоровье, смуглую кожу, румянец, полный стан, стройность и соразмерность: «Она мила, дородна и красива» («На Волге»), «соразмерная, стройная» («Дешевая покупка»), «Где твое личико смуглое?», «Тройка», «Саша» и т. д.

Все лирические пьесы Некрасова, посвященные любви, постоянно, роковым образом, возвращаются к домашним сценам и распрям,

обнаруживающим неуживчивость писателя с нежным полом («Если мучимый страстью мятежной...», «Поражена потерей невозвратной...», «Я посетил твоё кладбище... твой смех и говор... бесили мой тяжелый, больной и раздраженный ум», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди: что минута, то вспышка готова...», «Да, наша жизнь текла мятежно, расстаться было неизбежно...», «Нервы и слезы» и пр.). Природа вызывает поэтическое чувство в сердце каждого, даже не поэта; она составляет главное счастье простолюдина и, конечно, в поклоннике народа она должна была найти своего естественного, сильного певца. Таким и был Некрасов. Его обращения к родине, к Волге, к русскому народу исполнены порою захватывающего лиризма; они дышат мощью, скорбью и любовью: картины леса, деревни, крестьянского поля нарисованы ярко и реально, от них веет то свежестью, то грустью; в «Саше» и «Морозе» Некрасов дал истинно поэтические олицетворения лета и зимы. Но эта отзывчивость к природе, как чувство общее всем, не составляет еще отличительной приметы богатого поэтического темперамента. Да и здесь, если вычестить исключительные настроения Некрасова, вы откроете в нем того же положительного человека: желчного в ненастье, доброго на свежем морозце, проклинающего тиф и холеру, разносимые петербургскими ветрами, вполне довольного только на охоте, в своей деревне, за городом:

Любуясь месяцем, оглядывая даль,  
Мы чувствуем в душе ту тихую печаль,  
Что слаще радости... Откуда чувства эти?  
Чем так довольны мы?.. Ведь мы уже не дети!  
Ужель поденный труд *наклонности к мечтам*  
Еще в нас не убил?.. И нам ли, беднякам,  
На отвлеченные природой наслажденья  
Свободы краткие отсчитывать мгновенья?  
— Э, полно рассуждать! *искать всему причин!*  
Деревня согнала с души давнишний сплин,  
Забыта тяжкая, гнетущая работа,  
Докучной бедности бессменная забота —  
И сердцу весело...<sup>1</sup>

Наконец, в главном нерве своей деятельности, в том, что создало его великую славу, в печаловании о народном горе, в защите угнетенных и обездоленных, — на чем именно Некрасов сосредоточивал всю силу своего сострадания? На нищете, голоде и холоде, на болезнях, на муках от зноя в страдную пору, на трудностях этапного перехода, на удушливых потемках каторжных нор, на вредном воздухе фабрик для детей и рабочих, на невыносимых тягостях бурлацкого труда,

на убожестве мелких чиновников, — словом, всегда и главным образом — на материальных невзгодах меньшей братии. Речь его была сильная, проповедь горячая и грозная, — но в основе все-таки сидел человек дела, рачитель об общественных нуждах, красноречивый гигиенист или пламенный социальный депутат. Великий день освобождения крестьян, даровавший народной массе блага нравственные, встретил со стороны Некрасова лишь весьма слабый привет в виде коротенького, в 16 строчек, стихотворения «Свобода»... Некрасов не был настолько экзальтирован, чтобы растеряться и ошалеть в такую минуту. Он тут же сказал: это не все. Тринадцать лет спустя, в своей «Элегии» (1874 г.) Некрасов писал:

Я видел красный день: в России нет раба!  
И слезы сладкие я пролил в умиление...  
«Довольно ликовать в наивном увлеченьи,  
— Шеннула Муза мне, — Пора идти вперед:  
Народ освобожден, но счастлив ли народ?..»

Все это так, но ни слез умиления, ни ликования Некрасова по поводу освобождения крестьян — ни в одном его стихотворении, совпадающем с этой славной эрой, вы не найдете. Неудовлетворенный с самого начала, он все ждал, когда же станет «сносней крестьянская страда», когда побежит «по лугу, играя и свистя, с отцовским завтраком довольное дитя?» Цели земные, насущные, всегда оставались более близкими сердцу Некрасова. Такова сущность природы поэта, обличаемая его книгой. Уже в самой его личности есть много задатков для раздоров с музой.

## II

Содержанию соответствует и форма. Стихотворный текст точно так же весьма часто выдает Некрасова. Кто-то, в похвалу Некрасову, высказал, что достоинство его произведений состоит именно в том, что, будучи переложены в прозу, они, в виду своей содержательности, ничего бы не потеряли. Предательская похвала! Ведь в таком случае возникает неизбежный вопрос: зачем же они были написаны стихами? Стихотворная форма есть законный вид искусства, имеющий свою особенную область. Вне этой формы предметы поэзии делаются неузнаваемыми. Одна лишь музыкальная речь способна передать и запечатлеть некоторые неуловимые настроения; с разрушением мелодии все исчезает. А у Некрасова действительно добрых две трети его произведений могут быть превращены в прозу и не только ничуть от этого не пострадают, но даже выиграют в ясности и полноте. Есть целые страницы,

которые стоит только напечатать без абзацев, с самой незначительной перестановкой слов, с прибавкой двух-трех союзом, и никто не узнает, что это были стихи. Вот пример (из «Русских женщин»).

«Старик говорит:

— Ты о нас-то подумай! Ведь мы тебе не чужие люди: и отца, и мать, и дитя, наконец, ты всех нас безрассудно бросаешь. За что же?

— Отец! Я исполняю долг.

— Но за что же ты обрекаешь себя на муку?

— Я там не буду мучиться. Здесь ждет меня более страшная мука. Да ведь если я, послушная вам, останусь, меня разлука истерзает. Не зная покоя ни днем, ни ночью, рыдая над бедным сироткой, я все буду думать о моем муже, да слышать его кроткий упрек...»

Как видите, здесь нет ни малейшего следа мелодии, а между тем это почти буквальное перепечатывание нижеследующих сомнительно-музыкальных строк:

Старик говорил: «Ты подумай о нас,  
Мы люди тебе не чужие:  
И мать, и отца, и дитя, наконец,  
Ты всех безрассудно бросаешь,  
За что же?» — «Я долг исполняю, отец!»  
— За что ты себя обрекаешь  
На муку? — Не буду я мучиться там!  
Здесь ждет меня страшная мука.  
Да если останусь, послушная вам,  
Меня истерзает разлука.  
Не зная покоя ни ночью, ни днем,  
Рыдая над бедным сироткой,  
Все буду я думать о муже моем,  
Да слышать упрек его кроткий...»

К чему же, спрашивается, здесь стихотворная форма, когда она ровно ничего не прибавляет к рассказу ни в красоте, ни в силе впечатлений?

И таких опытов с некрасовскими стихами можно сделать множество. Что же это доказывает? Это доказывает, что стихотворная форма, по природе своей, не необходима для большинства сюжетов, изображаемых автором, и не существенна для передачи его настроения, что она мало пригодна для того материала, которым автор так часто наполняет свой текст. «Язык богов» не сливается с этим материалом в одно целое, он не преобразовывает его в нечто лучшее и легко спадает с него, как брэнная шелуха. А попробуйте проделать то же самое с фетовским «Шепот, робкое дыханье...»: в прозе эта вещь совсем погибнет, как алмаз, перегоревший в уголь. Или вздумайте, напри-

мер, перекладывать в прозу «Демона» или «Онегина», — да в этих стихах столько музыки, что вы не совладаете с ними; рифмы будут петь в прозе, вам будет больно делать эту ломку, — вы почувствуете, что вы терзаете, губите нечто живое и волшебное... А если бы вам и удалось разрушить метр, например, в какой-нибудь строфе «Онегина», хотя бы имеющей, по-видимому, самое прозаическое содержание, — то вы все-таки увидите, что нечто обаятельное исчезло, что известная мелодия была тут необходима: что рифмы позлащали какую-нибудь шутку, выдвигали острое слово, что складный тон создавал готовые афоризмы, незабываемые штрихи, — что вообще к этим заколдованным словам нельзя прикасаться безнаказанно. А здесь, у Некрасова, все это дозволено и нисколько не вредит существу дела. Почему же Некрасов употреблял в этом случае стихи? Можно думать, что Некрасов добросовестно заблуждался и часто сам не подозревал, что пишет рифмованную прозу. Он не отличался особенною чуткостью к форме и сам сознавал «неуклюжесть» во многих случаях своего стиха. Он даже впадал иногда в смешные и крупные музыкальные ошибки, выбирая для целых больших пьес совсем неподходящий размер. Так, например, «Русских женщин» («Княгиня Трубецкая») Некрасов написал таким же размером, каким Жуковский написал свою сказку «Громовой», а Пушкин — балладу «Жених» (с тою лишь разницею, что Некрасов совсем отбросил женские рифмы). Ничего нельзя было неудачнее придумать. Что вполне годилось по своей эффектной и звонкой монотонности к сказочному сюжету, — то вышло до прискорбия забавно в применении к такому вполне достоверному событию, как поездка княгини Трубецкой в Сибирь к сосланному мужу, ее бедствия в дороге, деловые разговоры с губернатором и т. д. Или, например, на пушкинский мотив: «Мчатся тучи, вьются тучи...», так совпадающий с кружением метели, Некрасов пишет следующее:

И откуда чёрт приводит  
 Эти мысли? Бороню,  
 Управляющий подходит;  
 Низко голову клоню,  
 Поглядеть в глаза не смею,  
 Да и он-то не глядит —  
 Знай накладывает в шею.  
 Шея, веришь ли, трещит!  
 Только стану забываться,  
 Голос барина: — Трофим!  
 Недоимку! — Кувыркатся  
 Начинаю перед ним... и т. д.

*«Ночлеги». III. У Трофима*

Итак, Некрасов мог и сам не подозревать, что в указанных нами случаях он пишет рифмованную прозу. В его время в деле поэзии (вообще разжалованной) не придавали особенного значения соответствию между формой и содержанием. Главное было — содержание. А стихотворная форма была все-таки пригоднее для распространения содержимого в публике; стихи короче, они не утомляют и, по своей складности, легче запоминаются; многие обрадовались, что могут читать стихи, как газету; читатели поощряли Некрасова, и он охотно верил, что его стихи «живее к сердцу принимаются», чем пушкинские («Поэт и Гражданин»). Некрасов стал этому поддаваться и затем надолго приучил русскую публику требовать от стихов прозы. Он повлиял и на всех начинающих поэтов последующего периода: никто из них не избег журнального языка и деловой обстоятельности в самых лирических по замыслу пьесах. «Но в чем же тут беда? — спросят нас. — Поэт высказал все, что ему было нужно сказать; все его прекрасно поняли и полюбили. Чего же больше?..» Никакой беды, конечно, нет, и победителей не судят. Но все должно быть поставлено на свое место, и мы только утверждаем, что во многих случаях высшая, музыкальная форма речи была обращена Некрасовым на дело, не свойственное ее природе, или была пущена в ход неумело, с непониманием внутренних законов этого искусства, и потому для этих вещей наступит расплата, как за всякое насилие природы: в поэзии они жить не будут, это была поэзия обиходная, удешевленная для всеобщего употребления, поэзия-аплике, мельхиоровая; политура с нее местами уже сходит и со временем сойдет совсем. Что делать! Поэзия так создана, что она живет только в формах, неразрывно слитых с ее содержанием; иначе неминуемо последует разложение.

Нам могут возразить: но ведь может быть поэзия и в произведениях, написанных прозою; сколько, например, поэзии в прозе Лермонтова, Тургенева, Гоголя, и если некоторые некрасовские пьесы, при обращении их в прозу, ничего не теряют, то признайте же за ними поэзию, по крайней мере в этой, не стихотворной форме. Но тут опять выступают свои непреложные законы каждого искусства. Несомненно, что и в прозаической форме может содержаться бездна поэзии. Таковую прозу можно переложить в стихи с условием, чтобы стихи внесли нечто новое, чего недостает прозе — окрылили скрытый в ней напев, соответствовали бы по своей мелодии настроению подлинника, как музыка на слова романса, и таким образом, хотя бы несколько расцвели, своеобразно украсили оригинал. Но если вы сделаете обратный прием, т. е. если первообраз, по замыслу автора, написан стихами, а вы эти стихи переложите в прозу и не только ничего не потеряете,

но, напротив, иногда выиграете, то будьте уверены, что это стихи весьма неважные.

Конечно, помощью такого опыта переложения, реакцию на прозу даст только известная часть произведений Некрасова. Но зато этот опыт (давно, впрочем, известный) — непогрешим, и если что потеряет в прозаическом переложении, то знайте, что там-то именно большую часть и есть поэзия. И такой поэзии останется у Некрасова еще очень много, — поэзии сильной и самобытной.

Предлагаемая нами экспертиза, если вы к ней прибегнете, покажет вам, что Некрасов по преимуществу является истинным поэтом в тех случаях, когда он излагает народные темы народным говором («В дороге», «Зеленый шум», «Коробейники», «Влас», «Кому на Руси жить хорошо», «Крестьянские дети» и т.д.) или когда он пишет литературным языком пьесы без тенденции («Рыцарь на час», «Тишина», «Саша», «Буря», личные стихотворения и проч.).

Впрочем, обратимся к подробностям.

### III

Нередко впадая в грубые диссонансы, не особенно чуткий к поэтическим тонкостям, Некрасов, однако, благодаря своей необычайной даровитости, открыл для русской поэзии новые звуки, новые оригинальные формы. Он был к тому вынужден временем. Время «Искры», Оффенбаха и великих реформ — глумления над старым и созидания нового — это время требовало, чтобы поэзия, если она желала иметь слушателей, понизила свой тон, опростилась. Некрасов приспособился к этому трудному положению. Он извлек из забвения брошенный на Олимпе анапест и на долгие годы сделал этот тяжеловатый, но покладистый метр таким же ходячим, каким со времени Пушкина до Некрасова оставался только воздушный и певучий ямба. Этот облюбленный Некрасовым ритм, напоминающий вращательное движение шарманки, позволял держаться на границах поэзии и прозы, балагурить с толпою, говорить складно и вульгарно, вставлять веселую и злую шутку, высказывать горькие истины и незаметно, замедля такт более торжественными словами, переходить в витийство. Этим размером, начиная со вступительной пьесы «Украшают тебя добродетели...», написано большинство произведений Некрасова, и потому за ним осталось прозвание некрасовского размера. Таким способом Некрасов сохранил внимание к стихам в свое трудное время, и хотя бы уже за одно это ему должны сказать большое спасибо эстетики, потерпевшие от него столько кровных обид. Затем унылые дактили также пришлось по сердцу Некрасову: он их также при-



голубил и обратил в свою пользу. Он стал их сочетать в отдельные двустишия и написал такой своеобразной и красивой музыкой целую поэму «Саша». Некоторый пуризм, которого держались в отношении народной речи Кольцов и Никитин, был совершенно отброшен Некрасовым: он пустил ее всю целиком в поэзию. С этим, подчас весьма жестким материалом, он умел делать чудеса. В «Кому на Руси жить хорошо» певучесть этой совсем неочищенной народной речи иногда разливается у Некрасова с такой силой, что в стремительном потоке напева совершенно исчезают щепки и мусор. В рифмах вообще Некрасов был искусен и богат; но особенного богатства он достигал в простонародных мотивах. Лучшим примером тому может служить «Влас». Короткие строчки «Коробейников» так и блещут чистыми, складными созвучиями.

«Ой, полна, полна коробушка,  
Есть и ситцы, и парча,  
Пожалей, моя зазнобушка,  
Молодецкого плеча!  
Выди, выди в рожь высокую!  
Там до ночи погожу,  
А завиджу черноокою —  
Все товары разложу,  
Цены сам платил немалые,  
Не торгуйся, не скупись:  
Подставляй-ка губы алые,  
Ближе к милому садись!»

Вот и пала ночь туманная,  
Ждет усталый молодец,  
Чу, идет! — пришла желанная,  
Продает товар купец.  
Катя бережно торгуется,  
Все боится передать.  
Парень с девицей целуется,  
Просит цену набавлять.  
Знает только ночь глубокая,  
Как поладили они.  
Распрячься ты, рожь высокая,  
Тайну свято сохрани!

Разве это не самая неподдельная поэзия и разве все это возможно переделать в прозу? Невольно продолжаем выписку, чтобы показать, что переход к более будничной теме несколько не ослабляет блеска и художественности выполнения:

«Ой, легка, легка коробушка,  
Плеч не режет ремешок!  
А всего взяла зазнобушка  
Бирюзовый перстенок.  
Дал ей ситцу штуку целую,  
Ленту алую для кос,  
Поясок — рубаху белую  
Подпоясать в сенокос —  
Все поклала ненаглядная  
В короб, кроме перстенька:  
«Не хочю ходить нарядная  
Без сердечного дружка!»  
То-то дуры вы, молодочки!  
Не сама ли принесла  
Полуштофик сладкой водочки?  
А подарков не взяла!  
Так постой же! Нерушимое  
Обещание даю:  
У отца дитя любимое!  
Ты попомни речь мою:  
Опорожнится коробушка,  
На Покров домой приду,  
И тебя, душа-зознобушка,  
В Божью церковь поведу!»

и т. д.

А как, например, складны торговые выкрики дядюшки Якова:

«Новы коврижки —  
Гляди-ка: книжки!  
Мальчик-сударик,  
Купи букварик!  
Отцы почтенны!  
Книжки неценны:  
По гривне штука —  
Деткам наука!  
Для ребятишек  
Тимошек, Гришек,  
Гаврюшек, Ванек...  
Букварь не прятка —  
А почитай-ка —  
Язык прикусишь...  
Букварь не сайка,  
А как раскусишь,  
Слаще ореха!

Пяток — полтина,  
Глянь — и картина!  
Ей-ей, утеха!  
Умен с ним будешь.  
Денег добудешь...  
    По буквари!  
    По буквари!  
    Хватай-бери!  
    Читай-смотри!»

Хотя это сделано по системе раешников и разносчиков, но обилие созвучий (почти по слову в строке) обличает несомненную виртуозность автора в рифме. Была у Некрасова и недюжинная способность находить удачные припевы: «Умер, Касьяновна, умер, голубушка, и приказал долго жить», «Холодно, странничек, холодно, голодно, родименький, голодно», «Вот приедет барин: барин нас рассудит» и т. д. Наконец, в пьесах, написанных ямбами, Некрасов достигал иногда чрезвычайно красивой плавности стиха («Тишина», «На Волге», «Поэт и Гражданин», короткие лирические пьесы вроде «Внимая ужасам войны...», «Прости! Не помни дней паденья...», элегии, «Последние песни» и другие). Все это показывает, что Некрасов обладал обширным музыкальным дарованием, но уже таков был склад натуры поэта, что он постоянно вступал в раздор с мелодией (как с теми женщинами, которых любил) и толкал эту мелодию на дело, ей совсем не подходящее, но более близкое собственным его стремлениям и вкусам.

После уничтожения своего первого сборника «Мечты и звуки» (в котором — невозможно вообразить! — воспевались привидения и загробные страдания душ) Некрасов круто повернул к сатире. Начав с шуток и куплетов, он подымал тон все выше и выше, говорил все злее и свободнее и создал самые разнообразные формы стихотворных обличений: рассказы, маленькие поэмы, диалоги, картинки, панорамы уличной жизни, обширные, талантливейшие фельетоны с прихотливыми переходами сюжета и настроения, а иногда и торжественные проповеди. К последним относятся две пьесы, прогремевшие на всю Россию, облетевшие все сцены и литературные вечера, известные в свое время каждому наизусть и потому как бы наиболее связанные с памятью о Некрасове: «Убогая и нарядная» и «Размышления у парадного подъезда». Они очень характерны. Действие их на общество было потому так сильно, что в них Некрасов находился наиболее в гармонии с своими стремлениями и призванием, а также — с настроением времени. По их упадку можно судить и о степени обветшания некрасовской

музы. Если вернуться к прошлому и настроить себя на тогдашний лад, — то эти две пьесы, как вещи известного стиля, удержат и теперь еще свою особенную красоту и силу. В «Убогой и нарядной» первые три стиха могут быть названы вечными:

Беспокойная ласковость взгляда  
И поддельная краска ланит,  
И убогая роскошь наряда —  
Все не в пользу ее говорит.

«Беспокойная ласковость взгляда», «убогая роскошь наряда» — здесь каждый эпитет, каждое слово полны красок и содержания; по сжатости и выразительности, по художественной правде, эти строки равны лучшим пушкинским строкам. Семейная обстановка «убогой», вся ее недолгая карьера описаны кратко, сильно и трогательно. По адресу «нарядной» стих так и блещет клеймящим красноречием: «Бриллианты, цветы, кружева, доводящие ум до восторга, и на лбу роковые слова: “продается с публичного торга”»... Это решительно неизгладимый удар бича! «Парадный подъезд», более близкий сердцу автора, и поблек гораздо более. Правда, в этой пьесе всегда были преувеличения, как и подобает в сатире, но многое стало непонятным, потому что мы слишком далеко ушли от крепостного права. Недавно, например, кто-то нам заметил, что особенно приторно и фальшиво удаление крестьян от подъезда вельможи с непокрытыми головами: «И покуда я видеть их мог, с непокрытыми шли головами...» — «Чего это они так шли!» — смеясь, восклицал критик. А между тем во время крепостного права мужик не смел покрывать головы ни перед одним прохожим дворянского вида и, следовательно, на петербургской парадной улице он едва ли имел случай надеть шапку. Есть преувеличения в этом стихотворении, но есть и большая сила. Группа челобитчиков нарисована выразительно и ярко, обращение поэта к вельможе полно благородной страсти, кончина вельможи воспета с предательской музыкальностью, вслед его гробу брошен задавленный шепот негодования, тирада о народном стоне дышит неподдельной скорбью, а конец — вызов к народу — заключает пьесу громадным сценическим эффектом. В этих двух вещах Некрасов отразился весь, в своей настоящей сущности. По природе своей он более всего был площадной оратор с трагическими нотами в голосе, вооруженный бичом и жалом сатиры, — адвокат голодающей и приниженной массы, действующий воплями, гиперболами, вымыслами, документами, насмешками, иногда без разбора, чем попало, но всегда дающий сильно почувствовать свое негодующее слово. Недаром Некрасов, как бы обмолвясь, сам

назвал себя *витией*: «И погромче нас были витии — да не сделали пользы пером»<sup>2</sup>. Не без основания и Достоевский называл Некрасова «глашатаем»<sup>3</sup>.

Кстати о гиперболе. Она, конечно, допустима в сатире, как пряность. Но Некрасов несколько злоупотреблял ею. Уже Страхов ставил ему в вину такие преувеличения, что какой-то жалкий чиновник (в стихотворении «О погоде») «*четырнадцать раз погорал*», что во время наводнения «целую ночь пушечный гром грохотал» и «вся столица молилась», что однажды в сильный мороз «на пространстве *пяти саженей*» можно было насчитать «*до сотни* отмороженных щек и ушей». Но у Некрасова бываюи и более коварные преувеличения, не в одном слове или сравнении, а в целом тоне картины, и притом — выраженные с таким апломбом, что читатель сразу и не опомнится. Зато тем горше делается впоследствии, когда вдруг, с последним ударом кисти, мгновенно почувствуется фальшь целого образа. Вот, например:

В нашей улице жизнь трудовая:  
Начинают ни свет, ни заря,  
Свой *ужасный* концерт, припевая,  
Токари, резчики, слесаря,  
А в ответ им *гремит* мостовая!  
*Дикий крик* продавца-мужика,  
И шарманка с *пронзительным* воем,  
И кондуктор с *трубой*, и войска,  
С *барабанным* идущие боем,  
*Понуканье* измученных кляч,  
Чуть живых, окровавленных, грязных,  
И детей *раздирающий* плач  
На руках у старух безобразных.  
*Все сливается, стонет, гудет,*  
Как-то глухо и *грозно рокошет,*  
Словно цепи куют на несчастный народ,  
*Словно город обрушиться хочет?*<sup>4</sup>

Видал ли кто-нибудь, в какие бы то ни было часы дня или ночи, такую «трудовую» улицу в Петербурге, при вступлении в которую его бы охватил слитный неистовый гул и грохот, описанный поэтом? Как все улицы Петербурга, более или менее удаленные от центра, подобная трудовая улица обыкновенно представляет из себя наружный вид холодного благообразия, порядка и сравнительной безлюдности. И читатель невольно раздражается неправдой...

Этот дешевый эффект — стращать фальшивыми звуковыми впечатлениями — составляет слабую струнку Некрасова. Мы укажем еще одно

место в «Русских женщинах», т.е. уже не в сатире, а в поэме. Княгиня Трубецкая разговаривает с мужем на свидании в Петропавловской крепости. И вдруг говорит:

«О, милый! что сказал ты? Слов  
Не слышу я твоих.  
То этот *страшный* бой часов,  
То *крики* часовых!»

Возможно ли, чтобы меланхолический звон курантов и оклик часового сочетались в такой оглушительный звук, который бы не позволил расслышать слов собеседника на самом близком расстоянии, в уединенной камере? Чего другого, а тишины в Петропавловской крепости, кажется, достаточно. Таких безвкусных пересолов у Некрасова найдется много. Шарж в описаниях, в сравнениях портит иногда самые дивные страницы. Например, в «Тишине», после прекрасного и поэтического возвания к родине, поэт описывает поля с рожью колосистой, лес — и вдруг, выехав на дорогу, радуется, что «пыль не стоит уже столбами, *прибитая к земле слезами рекрутских жен и матерей*». Этот невообразимый дождь, освеживший большую дорогу, — совершенно нестерпим.

Возвращаясь к сатирам, надо сказать, что в них все-таки виден огромный талант Некрасова. В больших сатирах («Кому холодно — кому жарко», «Газетная», «Балет», «Герои и современники», «Медвежья охота» и др.) Некрасов возвысил стихотворный фельетон до значения крупного литературного произведения. Оригинальная мозаика этих причудливых очерков содержит превосходные этюды Петербурга того времени. Здесь постоянно сменяется крикливая карикатура — верным и живым образом, желчная ирония — задушевным словом, журнальная проза — неожиданной поэтической строфой. Так, после указанного нами описания «трудовой улицы» следует нежное лирическое обращение к столичным детям-труженикам; после невероятно трагических приключений чиновника, погоревшего четырнадцать раз, встречается знаменитая трогательная строфа о приметах, по которым можно разыскать могилу писателя и учителя; в «Балете» есть полное грусти, набросанное живыми красками описание рекрутского обоза; в «Героях времени» — множество метких куплетов о современных деятелях и учреждениях, например блестящее юмором изображение окружного суда: «На Литейной такое есть здание...» и т.д. И всегда, при всем разнообразии сюжетов и пестроте изложения, вы слышите бесшумно звучащую ноту протестующего гражданина, который ни на минуту не забывает своей боевой позиции. В этих мемуарах необычайно умного человека и притом искусного версификатора, рассыпано много

такого, что еще долго будет подмывать и трогать людей реформенного периода и их преемников.

О поэмах Некрасова мы уже отчасти говорили. В них повторяется то же чередование поэзии и прозы, перемешанных, как суша с водою, в хаосе. Разделять их, указывать подробности мы не станем. Остановимся на «Русских женщинах» — самом неудачном и поучительном произведении Некрасова. Здесь он виден весь насквозь с своей закулисной искусственной работой и слабым художественным чутьем. Некоторые крупные недостатки были уже нами указаны. Но и в целом это — вещь от начала до конца прозаическая. План поэмы весьма нехитрый: в первой части описывается долгий и мучительный путь княгини Трубецкой в Сибирь; во второй, чтобы избегнуть повторений, прибытие другой героини, княгини Волконской, на каторгу, самая каторга и свидание обеих жен с мужьями. Для размазывания повествования Некрасов поручает княгине Трубецкой переживать свои собственные путевые впечатления в Риме, а княгине Волконской — в Крыму. Княгиню Трубецкую он даже заставляет уже прямо à la Некрасов переноситься мыслью из Ватикана на Волгу, к бурлакам. Пользуясь биографией Пушкина и онегинской строфой о ножках, Некрасов на минуту показывает нам тень великого поэта рядом с Волконской. Но этот образ вышел бесцветным. Автору «Ариона» и «Послания в Сибирь», — восприимчивому, как порох, свободолюбивому, светлому и (непростительно забывать) гениальному Пушкину, — Некрасов влагает в уста водянистые стихи, несколько приглаженные «ради формы» и богато уснащенные архаизмами: «сей», «хлад», «пенаты отцов», «сени домашнего сада», «осушатся полные чаши» и т.п., как будто этот старинный язык, от которого сам Пушкин так рано отстал, был характерною чертою его поэзии. Один из критиков, благоприятных Некрасову, объяснял неудачу «Русских женщин» тем, что здесь Некрасов вышел из своей привычной сферы. Едва ли это так. Политическая ссылка — тема вполне некрасовская. Его постоянно тянуло к этому сюжету, но и в приторном рассказе «Дедушка», и в поэме «Несчастные» (где есть превосходное описание петербургского утра) — фигуры ссыльных ему не удавались. Вернее, что Некрасову не доставало настоящего творчества, умения понять и воспроизвести минувшее время, исчезнувшие характеры; а для изображения судьбы Волконской и Трубецкой требовался еще и настоящий лиризм, чувство глубокое и простое, чуждое пафоса и риторики. Всего этого не было у Некрасова. Голые факты из жизни двух декабристок всегда будут производить более трогательное впечатление, чем затейливые узоры, расписанные Некрасовым на их основе. А сострадание к ссыльным глубже и сильнее, чем во всех измышлениях Некрасова, звучит в следующих простых словах Пушкина:

Во глубине сибирских руд  
Храните гордое терпенье,  
Не пропадет ваш скорбный труд  
И дум высокое стремленье.

Любовь и дружество до вас  
Дойдут сквозь мрачные затворы,  
Как в ваши каторжные норы  
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,  
Темницы рухнут — и свобода  
Вас примет радостно у входа,  
И братья меч вам отдадут.

На этот сердечный и целящий голос пришел даже благодарный ответ Одоевского из каторги: «Струн вещей пламенные звуки до слуха нашего дошли...»

#### IV

Лирические стихотворения Некрасова отличаются тою особенностью, что за которое бы из них вы ни взяли, вы в нем найдете одного только Некрасова, — не широкую индивидуальность поэта, не то «я», которым многие поэты начинают свои стихотворения с общего голоса всего человечества, но именно — одного только Некрасова с исключительными чертами его жизни и личности. Никогда, читая его, вы не забудетесь настолько, чтобы перед вами исчез автор, чтобы в его песнях вы нашли что-то свое, до такой степени интимное, будто кто-то неведомый подслушал ваше собственное сердце. В личных стихотворениях он всегда остается личным и в большинстве случаев — немного театральным. Его чувство часто бывает глубоким, сильным, но никогда простым, наивным, а всегда — с оттенком торжественности. Почти все его лирические пьесы делятся на две равных половины: одна касается пререканий с женщинами, другая — литературной деятельности и общественной роли самого поэта. В обеих сферах вам трудно перенести что бы то ни было на себя: со многим вы можете согласиться, но все остается достоянием резкой личности самого автора. Некрасов говорит вам, например, о своей музе, о ее назначении, о том, что он завидует «незлобивому поэту»; он опровергает взводимые на него клеветы, клянется в своей искренности — опасается, что его имя будет забыто, или надеется, что его помянут добрым словом, даже пророчит себе славу, — или зовет



толпу вместе с ним помянуть несчастных, или дает завещательные наставления, описывает свой недуг — и все это решительно неотделимо от представления о нем самом. Так что во всех этих стихотворениях Некрасов почти никогда не бывает невидимым другом, двойником своего читателя. Едва ли можно насчитать у Некрасова до десяти стихотворений, имеющих более или менее общее применение вроде «Внимая ужасам войны...», «Разбиты все привязанности. Разум вступил в свои холодные права», «Я сегодня так грустно настроен...», «Прости! Не помни дней паденья...», «Бьется сердце беспокойное...» и прелестнейшая элегия «Ах! что изгнание, заточенье!..» Кажется, кроме этих пьес, нет больше ни одной.

Но во всех стихотворениях, в которых Некрасов говорит о своей миссии, есть несомненная поэзия. В них прежде всего — полная гармония между формой и содержанием. Все они написаны плавным, выразительным, отделанным стихом. В них Некрасов будто прихорашивался, покидая свой поденный труд, и выходил на эстраду перед толпой в венке и тоге, в настоящем костюме поэта. Он любил эти большие выходы, эти праздничные напевы своей музыки, несколько эффектные, но всегда искренние, вызванные мучительным сомнением, что его не понимают, что ему не верят, что самую лиру считают в его руках незаконным орудием борьбы. И он бывал в этих песнях очень силен, очень красноречив; они помогали его делу, увеличивали число его союзников и поклонников. Из них можно было бы составить целый кодекс тенденциозной поэзии, самую сильную ее защиту. Почти все эти стихотворения заучивались наизусть, почти все они прекрасны.

Увы! пока народы  
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,  
Как тощие стада по скошенным лугам,  
Оплакивать их рок, служить им будет Муза,  
И в мире нет прочней, прекраснее союза!..  
Толпе напоминать, что бедствует народ,  
В то время, как она ликует и поет,  
К народу возбуждать вниманье сильных мира —  
Чему достойнее служить могла бы лира?

Я лиру посвятил народу своему.  
Быть может, я умру неведомый ему,  
Но я ему служил — и сердцем я спокоен...  
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,  
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба...

(«Элегия» А. И. Е-ву)

Иногда в этих песнях Некрасов достигал истинного величия:

...Но с детства прочного и кровного союза  
 Со мною разорвать не торопилась Муза;  
 Чрез бездны темные насилия и зла,  
 Труда и голода она меня вела —  
 Почувствовать свои страдания научила  
 И свету возвестить о них благословила...

*(«Муза»)*

Здесь уже поэзия, конечно, не в теориях, которые проповедует поэт, а в его собственной участи, в его роли, в его страстной личности, мучимой чужими, безответными для него страданиями.

В «Последних песнях» стих Некрасова получил какую-то особенную чистоту и прелесть: его «Баюшки-баю» положительно напоминает Пушкина. К числу лирических пьес мы относим также большое стихотворение или целую поэму «Рыцарь на час» — самое совершенное создание Некрасова. В ясную морозную ночь, среди деревенского поля, подстрекаемый чуткою тишиной, поэт вглядывается в свое прошлое, переносится мыслью на могилу матери и глубоко трогается своими заблуждениями. Трезвая четкость ландшафта, написанного рукою мастера, здесь как-то страшно сочетается с таким же ясным взглядом поэта в глубину своей совести. Выливаются чудные строфы покаяния... Наутро — благая решимость тускнеет и исчезает. Эта яркая, простая и потрясающая пьеса принадлежит к лучшим созданиям русской музыки. Читатель всех времен остановится на ней с любовью; он невольно поддастся обаянию животрепещущих движений души, запечатленных в ее сильной и грустной музыке.

## V

Наконец, остается общий вопрос о народе — об униженных и оскорбленных. Эти два слова неизбежно напоминают Достоевского. Нам кажется, что будущий историк литературы сумеет угадать родственные черты в демократизме Некрасова и Достоевского. Недаром эти два писателя вместе проливали свои юношеские слезы над романом «Бедные люди». Недаром Некрасов писал Достоевскому, что под именем Крота в «Несчастных» он желал изобразить его, Достоевского, в ссылке. Способ достижения у этих двух писателей противоположный, но сущность очень близка. Вспомните монолог Мармеладова, социальные теории Раскольникова, проповеди отца Зосимы. Разница в том, что один действовал буйно и открыто, чуть ли не с мечом гражданина

в руке, как принято изображать Минина, а другой — под смиренной монашеской рясой... Но не в том дело. Постоянно возбуждался вопрос: искренно ли любил Некрасов русский народ и обездоленных вообще? Для нас этот вопрос, вне всяких биографических разведок, имеет значение лишь в таком смысле: чувствуется ли любовь Некрасова к народу в его произведениях?

Страхов, один из авторитетных исследователей нашей словесности, высказал сомнение в искренности Некрасова, или, вернее, отметил у него высокомерную нотку в отзывах о народе. «Некрасов, — пишет Страхов, — никогда не может воздержаться от роли просвещенного, тонко развитого петербургского чиновника (?) и журналиста, и, так или иначе, но всегда выкажет свое превосходство над темным людом, которому сочувствует. Целый ряд стихотворений этого поэта посвящен изображению грубости и дикости русского народа. Как изящное чувство г. Некрасова оскорбляется *передником, завязанным под мышки*, так его гуманные и просвещенные идеи постоянно в разладе с грубым бытом, с грубыми понятиями, с грубой душой и речью простых людей. Он пишет особые стихотворения на такие будто бы глубоко *народные* темы: “Милого побои недолго болят!” (“Катерина”) или: “Нам с лица не воду пить и с корявой можно жить”». Он всегда не прочь грустно посмеяться или тоскливо поглумиться над народом...

В нас под кровлею отеческой  
Не запало ни одно  
Жизни чистой, человеческой  
Плодотворное зерно<sup>5</sup>.

«Вот настоящий взгляд г. Некрасова на Россию и русский народ; при таких взглядах мудрено быть народным поэтом и бросить лучи сознания на пути Провидения, выразившиеся “в нашей истории”» (Заметки о Пушкине, стр. 136 и 137). В предисловии к своей книге Страхов предвещает, что некоторые его статьи «имеют слишком крикливый тон, отзывающийся дурными привычками журналистики» (XVIII). Кажется, приведенные нами цитаты принадлежат именно к таким злополучным страницам. Тут, по-видимому, объективность изменила Страхову. Стихи, взятые им из Некрасова, нисколько не доказывают его положений. Грубая живопись Некрасова соответствует грубости предмета; она рассчитана на то, чтобы показать убожество жизни крестьянина, его почти животное существование, его ироническое примирение со всякими невзгодами; глумления же над народом самого поэта нигде решительно нет и следа в его произведениях. «Чувства изящного» в Некрасове было весьма мало, и вот уж кто никогда бы не стал им гордиться!

Наконец, строфа о «кровле отеческой» взята г. Страховым из колыбельной песне Еремушке, которую Некрасов напевает крестьянскому ребенку, и здесь поэт говорит о своей кровле, о своем *крепостническом* воспитании, о воспитании отживающего поколения и предваряет ребенка, чтобы тот не вливал в «старую, готовую форму» новую силу благородных юных дней. Где же здесь непонимание России или непонимание народа?

Для нас все равно: верно или неверно разумеет Некрасов историю русского народа и высшие судьбы его призвания. Для нас важно одно: видна ли его любовь к народу в его произведениях? На этот вопрос не может быть иного ответа, кроме утвердительного. Эта любовь — не только к народу, но и ко всем обездоленным и голодающим — течет у Некрасова лавою по всем его произведениям. Она имеет все оттенки: раздирающей душу скорби («Мороз»), смелой защиты перед сильными мира («Парадный подъезд»), доброй ласки отца («Крестьянские дети»), горячей заботы публициста («Плач детей», «Железная дорога»), вдохновенного увлечения поэта («Коробейники», «Зеленый шум») и т.д., и т.д. Какой же источник этой любви? Нам кажется, здесь влияли два фактора: во-первых, эпоха общей влюбленности в крестьянскую массу; во-вторых, события в личной жизни поэта.

Помимо всем известных впечатлений детства, на Некрасова самым решительным образом повлияла нищета, перенесенная им в Петербурге в годы юности. Страшно читать в его биографии, как он умирал с голоду, как он лишился своего бедного угла за неимением средств его оплачивать, как, всеми покинутый, дрогнул от холода на улице, как над ним сжалился какой-то нищий, который увел его с собою в отдаленный ночлежный приют и как здесь, среди оборванной толпы, Некрасов добыл себе кусок хлеба составлением прошения, за которое получил 15 копеек. «Я поклялся не умереть на чердаке, я убивал в себе идеализм, я развивал в себе практическую жилку», — говорил он впоследствии, вспоминая это время. В те горькие, незабываемые дни этот человек взглянул глазами пролетария на красивую жизнь столицы; глубоко и навсегда засело в нем чувство обиды. И когда он выбрался из «бездны труда, голода и мрака», он понял, что значит материальный достаток. «Один я между идеалистами был практик», — говорил Некрасов о кружке своих литературных друзей и сподвижников. И вот, содействовать по мере сил более равномерному распределению земных благ — стало его заветной думой. Для этого перед ним раскрылась модная, богатая, неисчерпаемая тема — народ. В то время вся лучшая доля нашего общества видела в народной массе свою надежду, свое возрождение; мечтали о «разрушении стены», о «слитии интеллигенции с народом» и о «великих результатах» такого еще неиспробованного, грандиозного

дела. Долгие годы теперь, кажется, показали, что, по мере претворения крестьянина в интеллигента, интеллигенция может численно разрастаться, но ее природные черты едва ли от этого изменятся. Впрочем, пронизательный Некрасов и тогда не заносился в облака; но общее тяготение к народу, с которым он бок о бок выстрадал голод, — было ему на руку. Из жизни этого народа он стал брать темы для своих потрясающих картин. Он увидел свой успех; эта работа его увлекла. По натуре сдержанный и крутой, почти не отзывчивый на чувство прекрасного, человек сильный и глубокий, но изуродованный и огорченный жизнью, — Некрасов нуждался в отмщении за обиды судьбы, и он полюбил мстить самодовольным за несчастных. Граница между искренним и искусственным у него потерялась. Часто он любил только «мечту свою», часто обливался слезами «над вымыслом». Но он чувствовал себя хозяином скорбящего народного царства, — этих необозримо-богатых владений для извлечения из них в каждую минуту чего-нибудь ужасающего для «сильных мира». «Народ безмолвствовал», но это только придавало еще более трагический оттенок песням Некрасова. Он увлекался своею миссией, облагораживался в ней, возвышался до голоса истинного гражданина, видел в ней свою славу, свое искупление за какой-то грех, на который содержатся горькие, сдержанные намеки в его поэзии. В течение многих лет на глазах целой России развертывался этот роман Некрасова с народом. Поэзия была уже не только в том, что он писал, но в самой его роли, в этой истории неразделенной, болезненной любви Некрасова к народу. Так что когда он умер, то его, издавна уже избалованного богатством, несметная толпа хоронила со слезами как страдальца за народ и убогих.

Что же осталось от этой яркой и шумной деятельности? Нужно сказать правду, что вклад Некрасова в вечную сокровищницу поэзии гораздо меньше его славы, его имени. И теперь уже, по истечении двенадцати лет, самые шумные его вещи значительно утратили свое обаяние. Он во многом и так скоро сделался положительно старомодным. Трудно заглядывать в будущее, но, быть может, правы те, которые говорят, что все, чем блистал Некрасов, забудется, а что, напротив, его произведения, не замеченные в свое время, всплывут и останутся вечными. Впрочем, в произведениях Некрасова слишком много ума, чтобы они утратили интерес исторический. Социальному вопросу еще долго, долго суждено существовать. Как документ, свидетельствующий о горячей борьбе, как иллюстрация к общественному злу, книга Некрасова может еще не раз всплывать, служить орудием, перечитываться. Но практические интересы, с которыми она связана, всегда будут ниже внутренней, общей жизни человечества. Не все люди составляют из себя ландвер<sup>6</sup> для завоевания гражданской свобо-

ды, — а тем, которые не входят в такой ландвер, книга Некрасова редко доставит отраду. Все русские люди, конечно, прочтут ее *обязательно* и, местами, с удивлением перед его талантом, но по собственному побуждению брать и перечитывать ее можно лишь в особенном, исключительном настроении.

Впрочем, общий голос, как бы по инстинкту, произнес Некрасову точно такой же приговор еще в минуту самого жаркого поклонения. Его прозвали «поэтом-гражданином». Что это значит? К чему эта прибавка к слову поэт? Коренное слово так велико, что всякая приставка может только уменьшить его... Лестно ли для поэтической славы сказать «поэт — гласный Думы» или даже «поэт-полководец»? Мы знаем, например, поэта-партизана Давыдова. Это прозвище говорит нам, что Давыдов — прежде всего партизан, но что он был, между прочим, и поэт. И у Некрасова «гражданин» звучит сильнее, чем поэт: это название также свидетельствует, что Некрасов был больше гражданин, чем поэт. Поэтому мы думаем, что Некрасов не великий, но замечательный, самобытный поэт вообще и поэт народной скорби в особенности; но более всего Некрасов — это неотразимо яркое, незабвенное имя в истории нашей гражданственности.

